

Катя Сенне

СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО: ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ. ТЕМА ИНВАЛИДНОСТИ В СОВЕТСКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (1930–1990-Е ГГ.)

В статье рассматривается вопрос репрезентации болезни и инвалидности в детской литературе советского периода. В СССР в конце 1920-х гг. складывается культ здорового тела, нравственной «закалки» и духовного перерождения, постепенно становясь одним из центральных тезисов официального идеологического дискурса. Калеки, инвалиды и немощные герои изгоняются из литературы, в том числе и детской, а табуированный образ больного, неполноценного ребёнка заключается в узкие контекстуальные рамки. На основе корпусного анализа 24 текстов советского периода автор статьи предлагает рассмотреть контексты, в которых допускается изображение табуированного объекта / предмета (в данном случае — тяжелобольного ребенка или ребенка-инвалида) как центрального или же второстепенного, а также выявить дополнительную смысловую нагрузку темы инвалидности в рамках идеологического модуса. Материалом для исследования послужили произведения классиков советской детской литературы (К. Чуковского, В. Каверина, А. Бруштейн, Л. Кассиля, А. Алексина, В. Крапивина и др.) и менее известных писателей (Р. Торбан, М. Герчика, Ю. Ермолаева, Г. Демькиной, Е. Макаровой и др.), написанные в период с начала 1930-х гг. по конец 1980-х гг.

Ключевые слова: Инвалид, болезнь, калека, больница, больничная палата, смерть, советская детская литература, детство, ребёнок.

Тему культурной репрезентации больного или травмированного тела можно отнести к одной из самых сложных в сфере общественных дискуссий: на протяжении различных исторических эпох эта

Катя Сенне

Университет Клермон Овернь (Франция)

katia.cennet@uca.fr

тема является мощнейшим генератором эмоций и табу в коллективном сознании и позволяет фиксировать отношение того или иного социума к наиболее зависимой и уязвимой категории своих представителей. Российская исследовательница Елена Трубецкова в своей книге «Болезнь как социальная и политическая метафора» [Трубецкова 2019] отмечает, что в постреволюционной советской культуре 1920–1930-х гг. персонажи-инвалиды служили почти исключительно для демонстрации стигматов старого режима и представляли собой символ жертвенности рабочих-революционеров, окропивших своей кровью фундамент нового мира. В такой трактовке инвалидность героя выступала показателем его принадлежности к победившему классу. Как отмечает в свою очередь культуролог Наталья Тамручи, «физическая ущербность не вызывала отторжения, скорее даже повышала социальный статус. <...> Среди партийной верхушки, прошедшей огонь и воду, болезнь, видимо, считалась признаком революционного горения, испепеляющего тело человека, и никак не могла помешать революционной карьере» [Тамручи 2013, 136].

Ярким примером переложения революционной биографии на литературную основу является роман Н. Островского «Как закалялась сталь» (1934), а литературный персонаж Павки Корчагина становится культурным клише, символизирующим победу несокрушимого духа строителя коммунизма над инвалидизированным телом (Трубецкова 2019). Однако постепенно культ здорового тела вытесняет становящуюся неуместной память о жертвах революции. В идеологическом дискурсе 1930-х гг. здоровое тело представляется гарантом здорового духа — «*Mens sana in corpore sano*», как гласит ставшее лозунгом крылатое выражение.

В культуре советского детства 1920-х гг. также начинает пропагандироваться принцип здорового образа жизни: вводятся обязательные уроки физкультуры и комплексы ГТО¹. Вчерашняя статистика по детским заболеваниям, демонстрировавшая катастрофическое состояние здоровья детей (малокровие, туберкулез, расстройство сердечной деятельности, нарушения деятельности нервной системы и психического здоровья у «домашних» детей, не считая сирот и беспризорников), начинает замалчиваться и вытесняться пропагандой здорового образа жизни, прославляются достижения советской медицины [Там же, 136]. Сталинская эпоха формирует риторику, окончательно вытесняющую из идеологической формулы «гражданина страны Советов» инвалидность и болезнь, ассоциируя эти понятия с недугами, поражающими не столь-

ко физическое тело, сколько социальное. Наличие инвалидов, а тем более больных детей, в стране, бросившей все силы на модернизацию и осуществившей подвиг пятилетки, становится недопустимым и постыдным фактом. «Советская медицина призвана была лечить не конкретно взятых людей с их всевозможными частными недугами, она врачевала общество. Она вела методичную позиционную войну с социальным злом — инфекцией (инакомыслие было ее разновидностью), — переходя то в плановое наступление (прививки), то в глухую оборону (карантины)» [Там же, 150].

Категория инвалидов рассматривалась обществом прежде всего в качестве объекта социальной пропаганды, тогда как в реальности последние составляли одну из самых многочисленных и необеспеченных категорий населения. Тяжелое положение инвалидов описывает в своей книге «В СССР инвалидов нет!» диссидент Валерий Фефелов (1949–2008), инкриминируя советскому правительству полное безучастие к судьбе инвалидов, лживость советской пропаганды и бедственное положение людей, лишенных элементарных прав. Фефелов также обвиняет советское правительство в изоляции и последовательной экстерминации инвалидов войны, ставших неуместным и нежелательным напоминанием о неспособности советского общества заботиться о самой нуждающейся его категории. В конце 1940-х гг. инвалиды помещаются в инвалидные дома и полностью изолируются от общества, а их культурные репрезентации заключаются в жёсткие рамки социалистического реализма. Однако присутствие огромного количества инвалидов войны, заполнивших послевоенное пространство, требовало идеологического объяснения. Так вслед за революционером Павкой Корчагиным в идеологический пантеон вводится другой «культовый» инвалид, лётчик Алексей Маресьев, воплощенный в 1946 г. в повести Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке». Литературный образ нового советского героя Алексея Мересьева обновляет мотив жертвенности и преодоления физического увечья, органично вплетаясь в мифологию страны-победителя.

Соцреалистическая эстетика предписывает определенное видение исторической действительности в ее динамике перехода к идеальному устройству мира, рассматривая культурного героя в рамках процесса эволюции человека в сверхчеловека. Телесные репрезентации литературного героя также претерпевают определенную переработку, в том числе и образ инвалидности. Примеры жизненного подвига легендарных инвалидов Николая Островского и Алексея Маресьева перерабатываются в литературный материал.

Оба текста становятся идеологическим ориентиром не только для взрослой, но и детско-юношеской читательской категории, моделируя систему художественной репрезентации недужного, ущербного тела: «...больничная палата в повести Полевого предстает пространством, в котором наряду с медико-терапевтической реализуется морально-нравственная работа над телом. <...> Рассказанная комиссаром история побуждает Мересьева превозмочь свои человеческие силы и вновь сесть за штурвал истребителя, т. е. совершить чудо, достойное только „настоящего“ советского человека» [Мурашов 2006, 223–224].

Пропагандистский миф о советских инвалидах-мучениках или инвалидах-героях начинает развенчиваться в постсоветскую эпоху, о чем свидетельствует пример автобиографического романа Гонсалеса Гальего «Белое на черном» (2002), повествующего о собственном опыте жизни автора в интернатах для детей-инвалидов в СССР в 1970–1980х гг. Роман Гальего, сам по себе не являясь ни детским, ни советским текстом, позволяет восстановить общий социально-культурный контекст и обозначить некоторые ориентиры в тематических проблематиках.

В детской литературе тема болезни и связанных с ней мотивов, имеет свои особенности: часто она служит элементом, призванным создать эффект реалистичности повествования или используется для развития сюжетной линии. Мы оставляем этот аспект в стороне, так как он не вписывается в систему табуированных сюжетов, и предлагаем рассмотреть литературную репрезентацию *тяжелого* заболевания ребенка (непосредственно угрожающего его жизни), а также тему детской *инвалидности*² в ее широком понимании, как некоего физического / психического повреждения, посягающего на целостность тела или психики.

В своем анализе мы будем отталкиваться от начальной гипотезы, состоящей в том, что в литературном тексте наличие изображения больного или искаленного ребёнка является значимым фактором. Важным вопросом является здесь телесный аспект изображения таких персонажей в рамках детской литературы. Можно предположить, что наличие физиологического описания изуродованного, инертного, недееспособного детского тела свидетельствует о намерении шокировать читателя, вывести за пределы собственного комфортного существования. Однако автор также может вводить в повествование персонажей-инвалидов с целью вызвать в представлении читателя образ героя, обладающего сильной волей, жизнеспособностью, адаптирующегося к ситуации и стремящегося

к преодолению границ, очерченных его болезнью. Мы также будем рассматривать образы персонажей-инвалидов в динамике — например, через восприятие детьми собственной инвалидности (принятие, отторжение, преодоление), через классификацию психотипов персонажей (таких как «герой» или «страдалец»), в рамках изменения и преодоления героем ущербности тела и духа (выздоровление / смерть / статичность увечья).

В первую очередь нас будут интересовать способы изображения больного тела в текстах, где тема болезни или инвалидность героя заявлена как основная или одна из основных в повествовании и где поврежденное тело или психика героя-ребенка выступают как объект целенаправленного интереса автора. Для получения наиболее полной картины репрезентации болезни и инвалидности в советской детской литературе был использован метод поиска соответствующих произведений по полнотекстовому корпусу русской детской литературы³. Комбинированный анализ лемм, связанных с темами болезни и инвалидности, а также их коллокаций («инвалид», «инвалидность», «калека», «увечье», «увечность», «ущербность», «болезнь», «болеть», «заболевание», «выздоровливать») позволил выявить 24 текста, опубликованных в период с 1932 г. по 1991 г., где заданная тема является центральной (см. список текстов в разделе «Источники»).

Анализ полнотекстового корпуса советской детской литературы показывает, что термины «инвалид» и «калека» практически не применяются авторами по отношению к детским персонажам (термин «инвалид» упоминается в отношении детей всего в пяти текстах⁴, а термин «калека» — лишь в 6 текстах⁵). На примере отбора произведений из наиболее представленного в корпусе временного периода 1950–1990 гг. из 638 обнаруженных текстов лишь в 22-х из них ребенок выступает как носитель серьезного заболевания или инвалидности (то есть чуть больше, чем в 3% из всех произведений детской литературы послевоенного периода, включенных в корпус).

Знаменательно, что в самом раннем тексте советского периода, посвященном теме тяжелой болезни детей, уже обозначена магистральная концепция сталинской идеологии — исправление духа через выздоровление тела. В повести К. Чуковского «Солнечная» (1932) главврач (авторитетный взрослый) объясняет детям, что достижения в труде и хорошее поведение каждого в отдельности не являются конечной целью. Через долгий и трудный путь выздоровления дети приходят к пониманию целостности коллек-

тива, необходимости излечить прежде всего «тело» коллектива, «взять друг друга под строгий контроль» [Чуковский 1932], установить круговую поруку: «Если коллектив у вас здоровый и крепкий, вы самого дрянного превратите в хорошего, а если коллектив у вас дрянь, вы любого сделаете дрянью. Самого лучшего» [Там же].

Чуковский описывает жизнь санатория для детей, страдающих костным туберкулезом. В «великолепном белоснежном дворце» [Там же] маленькие пациенты борются за здоровье и работают бок о бок с «огромной армией тружеников» [Там же] врачей и медперсонала на фоне идеи долга, который они обязаны вернуть советскому обществу: «Это при старом режиме из нас вышел бы человеческий хлам. Мы стояли бы у церкви на паперти и просили бы милостыню. А теперь, хоть мы и хромые, и горбатые, из нас выйдут учителя, инженеры — да, да, — агрономы, бухгалтеры, техники — да — и мы будем работать, как черти» [Там же]. Здесь также вводится дидактичная идея духовной терапии в лице мальчика Бубы, «ужасного преступника», прибывшего в санаторий в полуживотном состоянии: «был он мрачный и сонный, ни на кого не глядел, на товарищей не обращал никакого внимания, сидел нахохлившись и угрюмо молчал» [Там же]. Явный хулиган, «несознательный элемент», привносящий смуту в жизнь санатория, Буба сначала отторгается детским коллективом. «Мы требуем, чтобы Бубу удалили из нашей среды, потому что Советский Союз не нуждается в таких паразитах. Вместо него можно вылечить другого больного, не хулигана, а борца и строителя» [Там же]. Однако постепенно, обучая Бубу читать и постигать радость совместного труда, дети приходят к осознанию солидарной ответственности и целостности коллектива. В «борьбе за оздоровление быта» [Там же] детей поощряют взрослые. Таким образом моделируется миф о «настоящем человеке», где коллективное тело компенсирует и даже отрицает индивидуальную увечность, боль и страдание: «И странное дело: те боли, которые казались Сереже невыносимо-мучительными, когда он лежал один, — здесь, в компании с товарищами, не вызывали ни стонов, ни слез» [Там же].

Мир больничной палаты представляет собой особый замкнутый микрокосмос, где, с одной стороны, акцент делается на телесном и медицинском аспектах инвалидности, а с другой — дети-инвалиды оказываются изолированными от «здорового», потенциально дискриминантного общества.

На квартире у своих родителей они, конечно, очень страдают: им скучно и обидно лежать день и ночь без движения и видеть, как здоровые дети тут же, рядом, балуются, бегают, кувыркаются, прыгают. И все смотрят на них, как на мучеников, все говорят им: «ах, бедные», и от этого им еще тяжелее [Там же].

Здесь вопрос дискриминации регулируется через изоляцию детей-инвалидов — как предполагается на благо последних, а также устраняется нежелательный элемент в лице родителей. В рамках больничного хронотопа маркировка детей как «увечных» устраняется: «здесь не только не вопят и не стонут, но вообще не говорят о болезнях: играют с утра до ночи, работают, учатся, совсем как здоровые дети» [Там же]. «Вы здесь учитесь и ремесло изучаете. Какая же разница между вами и здоровыми?» [Матюшина 1953]. Преодолевая ущербность и доказывая свою работоспособность, дети-инвалиды становятся полноправными членами общества, но лишь внутри коллектива.

В текстах реалистической советской прозы, обращенной к детям, болезнь индивидуального тела, свидетельствующая о наличии изъяна в структуре общества, «выправляется» — в буквальном и метафорическом смысле — через посредство коллектива (школы, пионерского звена, больничной палаты). В этом плане показателен пример повести О. Матюшиной «Жизнь побеждает» (1953), описывающей жизнь детей в доме инвалидов. Здесь дети компенсируют свою ущербность трудом на благо коллектива и страны, стремясь «заслужить» свое место в обществе. Девочка Соня, совершившая эгоистичный поступок, сначала публично осуждается и подвергается остракизму со стороны детей, но постепенно включается в общее дело: «История с Соней оставила глубокий след в памяти детей. Они поняли, как важно помнить о товарищах, о коллективе. Соня тоже многое поняла. Она видела, как единодушно ребята осудили ее поступок» [Матюшина 1953]. Здесь мы можем видеть, как проступок одного члена «расшатывает» общую структуру группы, тогда как «исправление» поврежденного элемента утверждает общий позитивный посыл, демонстрируя прочность и жизнестойкость коллектива. Мотив преодоления в повести Матюшиной, вписывающийся в риторику соцреализма, обретает дополнительный аспект «растворения» индивидуального изуродованного тела в едином работоспособном коллективном организме: «Дружеская помощь, сознание того, что мы нужны Родине, можем быть ей полезны, делает нас полноценными. И мы забываем, даже не чувствуем свою

инвалидность!» [Там же]. Так физические изъяны каждого отдельно взятого ребёнка аннулируются, компенсируясь компетенциями другого: «Когда нужны были руки — Юра работал за двоих. Зато ноги Коли не знали усталости» [Там же]. Излюбленный советский лозунг «кто не работает — тот не ест», буквально применявшийся на практике по отношению к заключенным-инвалидам и больным [Фефелов 1986, 65], эксплицитно и бескомпромиссно внушается детям-инвалидам взрослым коллективом:

Не должно быть никаких «не могу» или «не хочу», — говорила она (главный врач) ровным, спокойным голосом. — Советскому государству важно, чтобы все его дети были здоровы, трудоспособны, образованны и прекрасны. Я имею в виду не внешность, а вашу духовную красоту, ваш моральный облик [Торбан 1962].

Примечателен тот факт, что рассказчики в текстах, где действие помещено в больничную/санаторную палату (Чуковский, Матюшина, Торбан, Ермолаев, Лакшин, Макарова), относятся к категории «включенного наблюдателя», то есть имеют непосредственный опыт контакта с описываемой ситуацией (Чуковский пишет о санатории, где лечилась его младшая дочь, скончавшаяся от костного туберкулеза, Ермолаев описывает опыт знакомого врача, а Торбан свой собственный опыт работы няни в санатории) или сами переживают болезнь (как авторы-инвалиды Макарова, Лакшин и Матюшина). Антрополог Константин Богданов вслед за социологом Артуром Франком называет таких авторов «травмированными рассказчиками» [Богданов 2005], которые переосмысливают свой собственный опыт через «литературную» болезнь. Ольга Матюшина (1885–1975), потерявшая зрение во время ленинградской блокады, выбирает путь преодоления⁶ (отметим, что в повести в качестве идеологического примера цитируется имя Островского). Елена Макарова описывает свой собственный опыт лечения в санатории для детей-сколиозников в 1950-е гг. (повесть была написана писательницей в 16 лет), известный советский литератор Владимир Лакшин (1933–1993), страдающий фибродисплазией, рассказывает о военном периоде своего детства в алтайской больнице.

Нарративный модус травмированного рассказчика предполагает особый взгляд на болезнь «изнутри» и претендует на легитимность передаваемого читателю опыта. Последний фактор немаловажен для заданной темы, так как позволяет авторам включить в повествование ряд табуированных тем, таких, как детская смерть,

физиологический аспект инвалидности, страх и неприятие собственного тела, впрочем, скорректированные в соответствии с социалистическими канонами. У Макаровой упоминание о девочке, умершей от рака (что само по себе исключительно), сделанное в нарочито будничном тоне, подчеркивает обыденность страшной реальности больничной жизни детей.

В повести В. Лакшина «Закон палаты» (1989), относящейся к самому позднему периоду советского корпуса, читателю также предлагается взглянуть на большое тело через призму травмированного рассказчика. Повесть основана на воспоминаниях автора о лечении в санатории для детей-инвалидов в тяжелейших условиях военного периода. Повествование заключено в узкие рамки замкнутого пространства больничной палаты с её собственными законами и проблемами. Контекст военного времени (а также то обстоятельство, что книга вышла уже в период перестройки — в 1989 г., когда жесткие рамки идеологической цензуры постепенно размывались) позволяет Лакшину более свободно говорить о непростых физических реалиях жизни маленьких инвалидов: боли, внешнем отталкивающем аспекте инвалидности (здесь совершенно отсутствует принцип компенсации), медицинском аспекте (процедуры, утки, гипсовые кровати), физиологических явлениях:

Зацепа ещё позвал её надрывно, визгливо — и вдруг смолк. Из него неудержимо хлынуло прямо в пелёнку, постеленную в гипсовой кровати, и он замер в ужасе, с колотящимся сердцем. Всё. Больше он не кричал, а лишь высвобождал из-под себя пелёнку, стараясь не запачкать простыню [Лакшин 1989].

Лакшин также затрагивает вопрос о психологическом насилии и круговой поруке, которые в замкнутом пространстве палаты принимают серьёзный масштаб, тогда как принципы советской коллективной коммуникации (не доносить, быть «как все», верить честному слову) оказываются вывернутыми наизнанку хитрым мальчиком Костей, именующим свою тактику манипуляции и запугивания «законом палаты»:

«Закон палаты» — значило, что надо отдать Косте гематоген, уступить очередь на книгу, оборвать игру с соседом и сыграть в шашки с Костей, если тому захотелось. И молчать, главное — молчать, чтобы взрослые не пронюхали [Там же].

Автор поднимает непростой в советском контексте вопрос о смерти ребенка-инвалида. Внезапная смерть товарища от ме-

нингита ставит главного персонажа Севку Ганшина перед фактом собственной смертности и уязвимости как инвалида: «Нет, нет, я не умру. Это Толяб умер, у него миллиардный. А я уже выздоровел. Я никогда не умру. Я не могу умереть...» [Лакшин 1989].

Сам факт смерти ребёнка-инвалида обозначает окончательное поражение общества, не сумевшего выполнить свои обязательства. Конечно же, подобный социальный провал был допустим лишь в условиях капиталистического общества, в котором инвалиды не выживали, или же их сознательно экстерминировали. В советском обществе чуть ли не единственным возможным контекстом для смерти увечного ребенка (как правило, ставшего инвалидом в результате военной травмы) является военное время. Например, в рассказе Владислава Крапивина «Гвозди» мальчик Володя, жертва блокады, умирает от последствий голода и травм, полученных от «зажигалок», которые он героически тушил на крышах Ленинграда. Его смерть вдохновляет главного героя на преодоление собственного страха перед соседом (несознательным элементом), не желающим отдавать свои гвозди, необходимые для сборки танка. Однако в обоих случаях смерть лишь косвенно касается главных персонажей, тем более что в повести Лакшина речь идет о военной обстановке с ее дефицитом лекарств, медперсонала, с антисанитарными условиями. «А попробовали бы, как мы, пережить войну и сохранить больных детей. Ведь ничего не было: гипса не было, термометров не было, простой марли и то не было...» [Там же], — вспоминает в конце повести бывший врач. Подразумевается, что послевоенная советская медицина сумела-таки преодолеть детские недуги, чему свидетельство — вылечившийся взрослый Ганшин, приезжающий в эпилоге в бывшую больницу.

У Лакшина тоже наблюдается определенная динамика сюжета духовного роста главного героя, постепенно освобождающегося от морока власти маленького тирана, который в конце концов оказавшегося «обыкновенным белобрысым мальчиком с оттопыренными ушами» [Там же]. Но мальчик вынужден самостоятельно прийти к пониманию ситуации, к осознанию того факта, что так восхищавший его товарищ оказался мелким тираном и манипулятором. Коллектив уже не выполняет своей вспомогательной функции, даже если импульсом к прозрению Севы является тот факт, что восхищавший всех Костя врёт взрослым и предаёт товарищей, скрепляя ложь клятвопреступным «честным пионерским». Здесь так и не происходит ожидаемое по сюжету спасительное вмешательство коллектива: товарищи не решаются поднять общий голос

против Кости, а взрослые вообще не отдают себе отчёта в ситуации, и лишь психологическое освобождение Ганшина нейтрализует в конце концов власть манипулятора над коллективом. Пионерская ячейка, куда входит и Костя, также не выполняет более своей сюжетной функции, а «недостойный» своего галстука пионер остается ненаказанным. Спасение видится автору, пишущему свою книгу на излете советской эпохи, не в растворении индивидуального в коллективном, а наоборот, в освобождении от общего заблуждения, порочной солидарности.

Кровать Кости стояла по-прежнему здесь же, рядом. С ним можно было поболтать, сгонять партейку в шахматы, поменяться книгой, но он ни в ком уже не вызывал ни ужаса, ни обожания [Там же].

Рассмотренные примеры показывают, что телесный аспект инвалидности и болезни заключается в жёсткие контекстные рамки.

Обратимся теперь к другим контекстам, в которых присутствует более или менее подробное физическое описание травмированного или ущербного тела, а также связанные с ним физические и эмоциональные страдания. А. Бруштейн в своем романе «Дорога уходит в даль» (1956) дает описание поврежденного тела девочки, польской подруги главной героини романа Сашеньки. Живущая в бедной семье Юлька страдает от последствий рахита:

Юлька отбрасывает в сторону тряпье, которое служит ей одеялом. При неверном, полосатом свете ночника я вижу Юлькины ноги. Конечно, это ноги. На них пальцы с ногтями, подошвы, все как у людей, и все-таки — ах, что это за ноги! Никогда я таких не видела. Худые, тонкие, как макароны, на щиколотках круглые опухоли, как браслеты, а колени выпячены вперед и в стороны, словно вывихнуты [Бруштейн 1956].

Картина изувеченного рахитом детского тела вписана в общую историческую рамку российской дореволюционной действительности в качестве демонстрации тяжелых условий существования бедной польско-еврейской семьи. Суровая реальность переворачивает картину мира главной героини, благополучной Саши. Однако девочка, являющаяся героиней действия, будущей революционеркой, воспитанной отцом-врачом в лучших гуманистических традициях, оказывается внутренне готова к отказу от прежнего образа жизни. В своем порыве прийти на помощь подруге девочка сначала сталкивается с беспомощностью взрослых, ибо социальная

реальность не позволяет врачам прийти на помощь страждущим: «Причина рахита — это голодная жизнь, в темном погребе, без солнца, без воздуха... Разве я, врач, могу устранить это?» [Там же]. Тогда Бруштейн прибегает к принципу нагнетания, добавляя к инвалидности девочки тяжёлую болезнь, крупозное воспаление лёгких, напрямую угрожающее жизни ребёнка. Лечение — и излечение — одного ребёнка представляется здесь начальным этапом революционной динамики, в борьбе за мир, где «Юльки не хирели бы в погребах...» [Там же]. Портрет умирающей девочки изображается в духе скорбной описательной традиции: «синие ногти», «как у покойника», «исхудала», «нос заострился», «синеватое лицо» [Там же]. Автор сюжетно «выправляет» ситуацию через финальное выздоровление девочки: изменяются внешние обстоятельства (мать Юльки выходит замуж, врачи занимаются здоровьем ребёнка), а «потолстевшие» ноги девочки символизируют качественный скачок улучшения её здоровья. Однако выздоровление героини остается за пределами ее собственного сознания, оно провоцируется внешним вмешательством, а общий пафос романа заставляет читателя проецировать дальнейшее развитие на историческую перспективу, когда свершится революция, призванная исправить социальную ситуацию всех обездоленных детей.

Идеологическая мотивация инвалидности ребёнка в «несоветской» (буржуазной) реальности присутствует и в повести Г.Новогрудского «Дик с 12-й Нижней» (1956), где действие происходит в капиталистическом Нью-Йорке пятидесятых годов. Маленький мальчик Дик получает тяжёлую травму глаза, пытаясь смастерить с помощью бутылки средство от крыс. Операция и уход за больным требуют от родителей-бедняков непомерных средств, и мальчик рискует остаться без глаза, так как бездушные врачи (в капиталистическом обществе они ведь еще и «деловые люди») предлагают более «дешёвый» способ лечения — удалить поврежденный глаз: «В субботу Дик, её дитя, лишится глаза. Он станет калекой не потому, что это было неизбежно, а потому, что они бедны» [Новогрудский 1956]. Циничная простота капиталистической формулы «есть деньги — есть лечение, нет денег — нет лечения» [Там же] призвана изобличить бесчеловечность системы, в которой даже добрый волшебник (в реальности оказывающийся безумным скрягой-миллионером) не в силах совершить чудо. Однако соцреалистическая эстетика подразумевает позитивную динамику, так что чудо все же происходит, но оно лишается фантастического ингредиента. Спасение приходит со стороны

коллектива журнала для рабочих и друзей-бедняков Дика, которые совместными усилиями продают рекордное количество газет с разоблачающей статьей о врачебных практиках клиники и жертвуют деньги на лечение ребенка.

Подобный дидактический посыл показательным образом совпадает с общим идеологическим дискурсом советских чиновников, изобличаемым вышеупомянутым В. Фефеловым: «Такой „знаток“ западной жизни как полковник УКГБ г. Владимира А. И. Шибаев не один раз заявлял, что инвалидов на Западе нет, так как они „умирают от голода и холода“, что у них нет собственного дома, им не платят пенсий, у них нет будущего, что в условиях Запада инвалид может выжить, только если он родственник состоятельного чиновника или сын миллионера» [Фефелов 1986, 105–106]. У Гальего же герой-калека, измученный будничным кошмаром советских инвалидных домов, воспринимает «чудовищную практику» капиталистических врачей как акт милосердия, пусть бездушного и циничного:

Я Америку любил, любил с девяти лет. Именно в девять лет мне рассказали, что в Америке инвалидов нет. Их убивают. Всех. Если в семье рождается инвалид, врач делает ребенку смертельный укол. <...> Я хочу в Америку [Гонсалес Гальего 2002, 26].

В текстах, где действие происходит в СССР, беспомощность взрослых (и в особенности врачей) устраняется. Тема достижений советской медицины широко представлена в реалистических текстах, которые повествуют о пользе прививания детей, о борьбе врачей с такими заболеваниями, как полиомиелит и туберкулез, а также с последствиями других тяжелых детских болезней (подразумевается, что они были вызваны «старым» режимом или бедствиями Гражданской войны). В подобном повествовательном модуле описываются корсеты и гипсовые кровати, предназначенные для выправления искривленных конечностей. Медицинские приспособления символизируют в текстах тяжелую борьбу советской медицины с детскими недугами (важно, что все перечисленные болезни входят в состав уже побежденных на тот момент).

В повести М. Герчика «Ветер рвет паутину» (1963) у главного героя по имени Саша вследствие осложнения полиомиелита парализованы ноги. В ходе повествования читатель узнает, что несмотря на отчаянные усилия советской медицины, кинувшей все свои силы на ликвидацию последствий страшной болезни⁷, мать Саши, в силу обстоятельств оказавшаяся в секте пятидесятников⁸, отказывает

в своевременном лечении сыну. Упущенное время провоцирует тяжелые осложнения, но мать упорствует в своем нежелании идти против веры и воли Бога, в конечном счете увозит сына в деревню, где главарь секты угрожает жизни мальчика.

Подобная ситуация возникает в повести Я. Ларри «Записки школьницы» (1961), где у девочки Марго диагностируют тяжелый порок сердца. Однако главным «недугом» Марго является ее суеверие, нежелание отречься от веры и пережитков старого времени. Таким образом, основной задачей Гали, главной героини повести, и ее одноклассников становится «излечение» (метафорическое и буквальное) Марго, которая «держится за своего бога, как слепой за палку» [Ларри 1961]. Как и в тексте Герчика, здесь мы имеем дело с бессильной, пассивной родительской фигурой, препятствующей выздоровлению ребенка из-за темных суеверий. Сближается ситуация Марго и с сюжетом из книги Бруштейн. Но если у Бруштейн упование матери Юльки на божественное вмешательство объясняется скорее отсутствием выбора («не слыхала про таких докторов, чтоб даром лечили» [Бруштейн 1956]), а также свойственной бедноте идеологической неграмотностью, то в повестях, описывающих советскую реальность, подобная слабость родителей оценивается как преступная:

— Когда он заболел?

— С неделю уже, — беззвучно ответила она. У доктора трубка, которой он меня выслушивал, вылетела из рук.

— И вы только сейчас вызвали врача? Мама до хруста сжала пальцы и прикусила губу. Глаза у нее стали глубокими и сухими [Герчик 1963].

Примечательно, что В. Фефелов тоже упоминает об «этиологической» установке советской номенклатуры — вменять болезнь детей в вину родителям: «Как сказал мне заведующий отделом социального обеспечения г. Владимира Лучков: „В уродстве детей повинны только их родители, пусть они и расплачиваются...“. Такова по сути мораль советских чиновников» [Фефелов 1986, 44].

Упорное стремление матерей помешать вмешательству врачей мотивируется опять-таки идеологически. Мать Марго заставляет дочь, находящуюся при смерти, ползти зимой вокруг озера, мать Саши остается глуха к издевательствам над сыном-инвалидом своего сожителя и главы секты (фашистского бандита и изменника родине, как окажется позже), собирающегося совершить кровавое жертвоприношение (!). Болезнь детей вводится авторами для иллюстрации недееспособности старого миропорядка, воспринимаемого

как некие пути — физические и идеологические — подлежащие «излечению».

Интересна эволюция портретной характеристики Марго, в начале повести представленной как «неуклюжая, коротконогая» девочка, которая «ходит, переваливаясь с боку на бок, словно утка». В дополнение к этому — у Марго «скверный характер», она «несимпатичная» и «неразвитая грубиянка» [Ларри 1961]. Подобный набор нелестных характеристик со стороны коллектива по отношению к инвалиду (отметим, что физические изъяны идут здесь вкупе с моральными) в современную эпоху были бы восприняты как прямая дискриминация, травля (bullying). Однако в рамках советского дискурса, направленного на переустройство порядка и переделку личности, подобный портрет преподносится автором как отражение внутреннего несоответствия девочки общим идеологическим канонам, а сама инвалидность — как феномен обратимый. В данном случае коллектив в лице пионерского звена берет на поруки «несознательный элемент» и заодно спасает девочке жизнь, помешав матери продолжать экзекуцию церковного лечения.

Кто же поможет Марго быть счастливой, если мы отвернёмся от неё? А Марго должна быть счастливой, потому что мне, например, будет ужасно неприятно жить, если я ничего не сделаю для неё [Там же].

Здесь мы имеем дело с процессом, обратным первоначальной предпосылке, тело корректируется через излечение духа. «Болезнь, конечно, большое несчастье, но, болея, Марго освободилась, наконец, от многих глупостей» [Там же].

В повести М. Герчика мать Саши насильно изолирует его от товарищеского пионерского коллектива, играющего компенсаторную роль относительно родительской некомпетентности (пионеры интегрируют мальчика-инвалида в школьный и общественный процессы, организуют его учебу, включают во внешкольную деятельность и т. д.). Саше приходится самостоятельно преодолевать свои физические и духовные ограничения. Оторванный от коллектива, он обретает подругу по несчастью, девочку Катю, которая тоже несет на себе характерные стигматы жертвы во имя идеи: рубцы от ожогов, полученные при попытке спасти пионерский галстук, брошенный в огонь матерью. Здесь опять срабатывает модель преодоления: пытаясь избежать страшной участи, мальчик решается на поджог дома и сверхусилием выбрасывает немощное тело в окно, где его — буквально и метафорически — подхватывают дружественные руки пионеров. В обоих случаях пионерский коллектив,

представляющий вкупе с курирующими его «правильными» взрослыми уменьшенную модель советского социума, играет роль *deus ex machina* — финального спасительного вмешательства извне, восстанавливающего равновесие.

— Кто это «мы» — вспыхивает мама. — Что это еще за хозяева над ним?

— Мы, советская власть, — чеканя каждое слово, говорит дядя Егор. — Нет такого закона, чтобы детей в секты вовлекать, жизнь им мутить. И не будет. И если тебе голову так заморочили, что ты ни о чем думать не хочешь, то мы о Сашке подумаем. А попробуешь ему учиться запретить, мы тебя, милая, быстро к порядку призовем. По всем советским законам [Герчик 1963].

Мать Саши осознает глубину своего заблуждения, Саша благодаря врачам проходит реабилитационный курс лечения. Заметим, что его выздоровление показано не как результат, а в динамике пути трудного преодоления недуга (светлое будущее требует жертвенности и сверхусилия): «Профессор Сокольский говорит, что через год-полтора я совсем смогу с ними расстаться. А лечение я продолжаю» [Там же]. Выздоровливающая после операции Марго «изменяется до неузнаваемости», «очень удачно похудела, стала тоненькая, стройная, как балерина» [Ларри, 1961]: «некрасивость» тела устраняется с «некрасивостью» духа.

Размышляя о традиции текстов о болезни в русской литературе, Ю. Мурашов на примере «Записок из мертвого дома» Достоевского рассматривает связь между темой врачевания и морально-нравственным воспитанием: «...обе стороны (врачи и заключенные) совместно работают над процедурой „растворения“ индивидуально-виновного тела в „теле“ коллектива. Процесс „растворения“ требует, с одной стороны, телесного, а с другой — духовного и психологического напряжения» [Мурашов 2006, 223]. Анализ репрезентаций детской инвалидности в соцреалистических текстах показывает, как советская риторика перерабатывает уже знакомую по классической литературе воспитательно-терапевтическую модель, в которой заменяются идеологические компоненты.

В перечисленных ранее текстах наблюдается общий показательный фактор — позитивная динамика болезни и инвалидности (персонажи либо выздоравливают, либо компенсируют инвалидность через обретение дополнительных трудовых навыков внутри коллектива). Однако в ряде текстов можно наблюдать

статичную ситуацию увечности: «Корабли Санди» В. Мухиной-Петринской (1966), «Птица» Г. Демыкиной (1975), «Солнечное затмение» А. Лиханова (1977), «Верочка» А. Богословского (1984). Тексты объединены общей возрастной категорией читателя (литература для юношества) и тематикой любви с достаточно чёткой сюжетной схемой: девочка-инвалид (незрячая Ата у Мухиной-Петринской, диабетик Люся у Демыкиной, парализованная Лена у Лиханова и сердечница Верочка у Богословского) встречает «своего человека» [Демыкина 1975], молодые люди влюбляются. Принцип компенсации здесь выражен особо отчетливо: красота и интеллектуальные способности Лены, обостренное чувство справедливости Аты, чистая душа «светлого человека» Люси. В этой повествовательной схеме инвалидность рассматривается не как самостоятельный сюжет, а как жанровый элемент препятствия на пути к счастью. «Правильный» мальчик должен найти путь к преодолению преграды в виде инвалидности (найти медицинское решение, преодолеть сопротивление/неприятие общества, доказать истинность своих чувств), а инвалид-девочка — преодолеть свой страх и неприятие собственного тела. Наиболее показательным для любовно-сентиментального жанра нам кажется повесть Богословского «Верочка». Здесь главный герой Леша вопреки собственному разуму и жестокости школьного коллектива поневоле увлекается больной одноклассницей Верочкой (у девочки четыре порока сердца наряду с другими заболеваниями). Главный герой оказывается перед непростой дилеммой: девочка обладает невероятно отталкивающей внешностью, которая провоцирует жестокое отношение со стороны одноклассников. Даже ее невероятная доброта кажется Леше нелепой и странной:

Лицо у неё было некрасивым, одутловатым и с какими-то очень неприятными бородавками на щеках. Но самыми странными, необычными были у неё глаза: совершенно белые. Я более никогда не видел таких глаз, да думаю, что и вообще таких больше в природе не встречалось. Стояла она тихонько, дышала часто и коротко и как-то очень смешно сложила на груди толстые коротенькие ручки, соединив ладони, будто молилась. Вся фигура её казалась расплывчатой, неопределённой, беззащитной, и в этой беззащитности — страшно уязвимой для наших по-детски злых наскоков [Богословский 1984].

Вопреки своему отвращению («я преодолел какую-то преграду брезгливости») [Там же] Леша начинает восхищаться ее «страдающей душой, полной самых необыкновенных превращений» [Там

же]. Между подростками зарождается нежная дружба, беспощадно растаптываемая жестоким детским коллективом, перед мнением которого главный герой оказывается бессильным и слабым. Коллектив выступает здесь в противоположной ранее представленной роли, становясь препятствием на пути к счастью – так сказать, змеем, головы которого должен отсечь герой. Однако издевательства одноклассников над Верочкой, грозящие обратиться и на самого героя, оказываются слишком устрашающим испытанием, и он отказывается от своего неосознанного еще чувства.

В описании больной девочки наблюдается необычный мотив «негативной» телесности. Нарочитая некрасивость девочки, ее странный характер и слезливая сентиментальность становятся настоящим испытанием для сердца юного героя, которого тот не выдерживает. Духовная трансформация совершается через раскаяние и сожаление, когда, уже повзрослев, герой узнает о смерти брошенной подруги:

Ты был такой чудный мальчик, чистый, вдумчивый... — Она провела рукой по моей голове. — Ты потемнел. Раньше ведь ты был светленький-светленький... И вырос [Там же].

Потеряв «светлую» детскую душу, что символически оттеняется деталью, — «потемневшим» цветом волос – герой встаёт на крестный путь духовного раскаяния.

Повесть Анатолия Алексина «Раздел имущества» (1980) представляет ситуацию, на первый взгляд, отличную от выше представленных текстов. Рассказ ведется от лица девочки, возвращающейся в своих воспоминаниях к пережитому детскому опыту инвалидности. Вследствие родовой травмы, кровоизлияния в мозг «ограниченного характера» [Алексин 1980], героиня страдает «младенческим кретинизмом». Рассказывая историю болезни Веры, автор, укрывшись за образом «умственно отсталой девочки», довольно пронизательно и остро поднимает вопрос уже психологического характера, а именно, как отражается инвалидность ребенка на семье. Здесь также ставится проблема восприятия ребенком собственной зависимости. В более ранних текстах ребенок, как правило, помещался авторами либо в неполноценную / идеологически «неправильную» семью, либо в изолированное пространство больницы или интерната. У Алексина же семья выглядит внешне благополучно, но груз ответственности, лежащий на родителях, постепенно переносится на ребенка, ощущающего себя как помеху.

Когда ребенок в доме хронически болен, все подчинено этому горю. Подавлено им. Мама и папа, когда оставались вдвоем, кажется, ни о чем, кроме моей болезни, не говорили [Там же].

Повествование от первого лица не дает читателю возможности оценить степень физического ущерба, нанесенного тяжелой болезнью девочке, так как в роли рассказчика последняя демонстрирует удивительную для страдающего кретинизмом ребенка рассудительность и зрелость. Зато читатель легко узнает традиционную для автора проблему коммуникации между детьми и родителями, не воспринимающими ребенка как самостоятельную личность. В данном случае инвалидность ребенка, его неспособность установить вербальный контакт и обозначить свои реальные потребности лишь усугубляют знакомую по предыдущим текстам Алексина семейную схему со слабовольным отцом и стремящейся к абсолютному контролю матерью-абыюзером. Так последняя постоянно отсылает дочь к ее физической ущербности: «Ты не должна игнорировать свое заболевание. Ты не можешь равняться на тех, кто бегает во дворе: они абсолютно здоровы» [Там же]. Если в начале рассказа сложные взаимоотношения между супругами объясняются наличием в семье тяжелобольного ребенка, то в ходе повествования читатель приходит к выводу, что инвалидность скорее маскирует реальные проблемы семейной пары. Столь нетривиальный совет ребенка развестись, чтобы прекратить семейный конфликт, вызывает у родителей неуместный восторг, тогда как реальный посыл «совета» намеренно игнорируется:

— Она сказала буквально... цитирую слово в слово: «А почему вы все-таки не развелись?» То есть она понимает, что, если брак в чем-то не оправдал себя, не удался, люди разводятся. Ты представляешь, какие аспекты человеческих отношений подвластны ее уму! [Там же].

В алексинской схеме недееспособность родителей и общее дискриминантное отношение взрослых к ребенку-инвалиду компенсируется не посредством вмешательства коллектива, а через фигуру бабушки, которой родители поручают заботу о внучке. Участие бабушки в судьбе Веры становится внешним фактором преодоления болезни посредством инклюзивного воспитания:

Я помню, что слова долго не вступали со мной в контакт: язык был тяжелым, не подчинялся. А бабушка, не замечая этого, без конца со мной разговаривала. Она вовлекала меня в беседы так естественно, а порой властно, что язык начинал понемногу сдаваться. Некоторые взрослые

поступали иначе. Они делились в моем присутствии своими тайнами, как при глухой. «При ней можно!» — слышала я. Сами того не понимая, они настырно убеждали меня в моей неполноценности [Там же].

Упорное стремление бабушки интегрировать больного ребенка в пространство нормальности помогает тому неосознанно бороться с болезнью и «отфильтровывать» картину собственной ненормальности, навязываемую «чужими» или же недееспособными взрослыми. Выздоровление Веры позволяет матери упразднить ставшую неуместной претендентку на любовь дочери, а семейный конфликт заставляет бабушку принять соломоново решение: самоупраздниться и уехать в деревню. Однако финальное чудесное избавление от тяжелой инвалидности не изменяет статуса Веры в семье, упорно видящей в ребенке лишь неполноценный элемент, «недочеловека».

Утрата «правильного» взрослого провоцирует разрушение безопасного аффективного пространства, позволявшего девочке самоидентифицироваться как нормальному ребенку, и грозит разрушением не только ее домашнего мира, но и хрупкого психического равновесия. «Ничего страшного? Она к тете Мане уехала? К тете Мане? К тете Мане, да?! — кричала я, чувствуя, что земля, как это бывало прежде, уходит у меня из-под ног» [Там же].

Подводя итоги, можно заключить, что соцреалистическая эстетика диктует определенное прочтение детской инвалидности, направленное на динамику исцеления тела и духа в рамках коллектива. Характерно, что хрестоматийный текст сказки Катаева «Цветик-семицветик» (1940) остается единичным примером *чудесного* исцеления ребенка-инвалида, хотя и проходящего параллельно духовному росту героини, но исключающего поэтику преодоления собственных духовных и физических лимитов. Для реалистических текстов характерен взгляд на инвалида со стороны как на объект «исправления» (второстепенные персонажи-инвалиды), или же — с позиции главного героя — как на субъект, воплощающий принцип самоотречения во имя общей идеи. В обоих случаях телесная ущербность воспринимается как феномен временный и обратимый. Позитивная динамика недужного тела характерна для большинства детских текстов, что свидетельствует о неготовности советского общества принять на себя обязательства перед своей самой уязвимой социальной категорией и о неготовности делать физическую

немошь предметом обсуждения с детьми. Неслучайным в этом свете кажется факт, что в 18 текстах из 24 произведений, где так или иначе развивается эта тема, дети-инвалиды помещаются либо в неполноценную семью, состоящую, как правило, из ребенка и беспомощной матери, либо являются сиротами, а общество компенсирует неполноценную ячейку, исправляя нанесенный ущерб посредством вмешательства коллектива. Выбор категории инвалидности также весьма красноречив. Поголовное большинство текстов затрагивает моторные повреждения конечностей, также упоминаются такие недуги, как полиомиелит, туберкулез, рахит, а также повреждение зрения, порок сердца, немота, то есть либо заболевания, искорененные советской медициной, либо поправимые за счет самоотверженных врачей (например, все пять случаев слепоты, упомянутые в текстах, в итоге оказываются излечимыми). Смерть ребенка или тяжкие увечья (ампутированные конечности) возможны только в контексте жертв войны, либо в рамках сентиментальной любовной прозы, где инвалидность не является объектом интереса как такового, а лишь выполняет сюжетную функцию. Для советской детской литературы ребенок-инвалид в целом не представляет отдельного интереса, а лишь служит удобным персонажем для построения сюжетных схем.

Тем не менее, в конце 1980-х гг. намечается робкая динамика в репрезентации больного детского тела, авторы делают попытку разнообразить спектр болезней, включая туда психические отклонения (хотя и обратимые), как у Алексина, вводят психологический ракурс, рассматривают некоторые табуированные ранее аспекты телесности (пример писателя-шестидесятника Лакшина). Смена культурной парадигмы в 1991 г. повлекла за собой освобождение дискурса от идеологических канонов советского периода. Тема детской инвалидности и тяжелых заболеваний гораздо более широко представлена в современной детской литературе (в особенности это касается последнего десятилетия), что позволяет обозначить новую исследовательскую перспективу изучения заданной темы.

Примечания

¹ «... в 1931 году комплекс ГТО был утвержден постановлением Всесоюзного Совета физической культуры при ЦИК СССР. Выработывается стереотип образцового советского человека, физическое здоровье которого свидетельствует о здоровье духовном» [Трубецкова 2019, 142].

² Ср. англоязычный термин «disability».

- ³ «Корпус русской прозы для детей и юношества XX и XXI века», разработанный в Лаборатории цифровых исследований литературы и фольклора при Институте русской литературы (Пушкинский Дом): <http://detcorpus.ru>. Ввиду обширного количества анализируемых текстов, цитируемого материала и специфики корпусного анализа фрагменты произведений, полученные в результате поиска по корпусу, цитируются по версии, представленной в корпусе на март 2020 г. Далее при таком цитировании будет указываться автор и год первого издания произведения.
- ⁴ Н. Шундик «На Севере Дальнем», С. Полетаев «Озорники», А. Лиханов «Солнечное затмение», К. Чуковский «Солнечная», Ю. Яковлев «Враг-тарь».
- ⁵ Е. Макарова «Через каждые шесть дней — воскресенье», О. Матюшина «Жизнь побеждает», Г. Новогрудский «Дик с 12-й Нижней», К. Чуковский, «Солнечная», М. Герчик «Ветер рвёт паутину», Ю. Ермолаев «Дом отважных трусишек».
- ⁶ В предисловии издателя можно прочитать «Ольга Константиновна Матюшина испытывала все те нечеловеческие трудности и лишения, которые переносили ленинградцы в заблокированном городе: голод, холод, обстрелы, бомбежки. Естественно, что ни о чем другом, как о героизме людей, ее окружавших, и не могла она писать» [Матюшина 1953].
- ⁷ Именно в СССР полиомиелит был впервые в мире ликвидирован как массовое заболевание. Подробнее см. [Дроздов 1967].
- ⁸ Последователи пятидесятничества — протестантского учения, возникшего в нач. XX в. в США на базе одного из движений методистов [Куропаткина 2015, 88-89]

Литература

Источники

- Алексин 1980* — Алексин А. Раздел имущества. 1980. (Aleksin A. Razdel imushchestva. 1980.)
- Богословский 1984* — Богословский А. Верочка. 1984. (Bogoslovskiy A. Verochka. 1984.)
- Бруштейн 1956* — Бруштейн А. Дорога уходит в даль. 1956. (Brushteyn A. Doroga ukhodit v dal'. 1956.)
- Герчик 1963* — Герчик М. Ветер рвёт паутину. 1963. (Gerchik M. Veter rvet rautinu. 1963.)
- Демькина 1975* — Демькина Г. Птица. 1975. (Demykina G. Ptitsa. 1975.)
- Ермолаев 1975* — Ермолаев Ю. Дом отважных трусишек. 1975. (Ermolaev Yu. Dom otvazhnykh trusishek. 1975.)

- Каверин 1938* — Каверин В. Два капитана. 1938. (Kaverin V. Dva kapitana. 1938.)
- Кальма 1974* — Кальма А. Сироты квартала Бельвилль. 1974. (Kal'ma A. Sirotu kvartala Bel'vill'. 1974.)
- Катаев 1940* — Катаев В. Цветик-семицветик. 1940. (Kataev V. Tsvetik-semitsvetik. 1940.)
- Кассиль 1943* — Кассиль Л. Держись, капитан. 1943. (Kassil' L. Derzhis', kapitan. 1943.)
- Крапивин 1972* — Крапивин В. Гвозди. 1972. (Krapivin V. Gvozdi. 1972.)
- Крапивин 1965* — Крапивин В. Та сторона, где ветер. 1965. (Krapivin V. Ta storona, gde veter. 1965.)
- Лакшин 1989* — Лакшин В. Закон палаты. 1989. (Lakshin V. Zakon palaty. 1989.)
- Ларри 1961* — Ларри Я. Записки школьницы. 1961. (Larri Ya. Zapiski shkol'nitsy. 1961.)
- Лиханов 1977* — Лиханов А. Солнечное затмение. 1977. (Likhanov A. Solnechnoe zatmenie. 1977.)
- Макарова 1968* — Макарова Е. Через каждые шесть дней — воскресенье. 1968. (Makarova E. Cherez kazhdye shest' dney — voskresen'e. 1968.)
- Матюшина 1953* — Матюшина О. Жизнь побеждает. 1953. (Matyushchina O. Zhizn' pobezhdaet. 1953.)
- Михалков 1989* — Михалков С. Фантик. 1989. (Mikhalkov S. Fantik. 1989.)
- Мухина-Петринская 1966* — Мухина-Петринская В. Корабли Санди. 1966. (Mukhina-Petrinskaya V. Korabli Sandi. 1966.)
- Новогрудский 1956* — Новогрудский Г. Дик с 12-й Нижней. 1956. (Novogrudskiy G. Dik s 12-y Nizhney. 1956.)
- Торбан 1962* — Торбан Р. Заколдованная палата. 1962. (Torban R. Zakoldovannaya palata. 1962.)
- Чуковский 1932* — Чуковский К. Солнечная. 1932. (Chukovskiy K. Solnechnaya. 1932.)
- Щербаклова 1985* — Щербаклова Г. Отчаянная осень. 1985. (Shcherbakova G. Otchayannaya osen'. 1985.)
- Яковлев 1975* — Яковлев Ю. Вратарь. 1975. (Yakovlev Yu. Vratar'. 1975.)
- Гонсалес Гальего 2002* — Гонсалес Гальего Р. Д. Белое на черном. СПб.: Лимбус Пресс. 2002. (Gonsales Gal'ego R. D. Gal'ego Ruben David Gonsales. Beloe na chernom. Saint-Petersberg, 2002.)

Исследования

Богданов 2005 — Богданов К. А. Врачи, пациенты, читатели: патографические тексты русской культуры XVIII–XIX веков. М.: О.Г.И., 2005. (Bogdanov K. A. Vrachī, patsienty, chitateli: Patograficheskie patograficheskie teksty russkoy kul'tury XVIII–XIX vekov. Moscow, 2005.)

Дроздов 1967 — Дроздов С. Г. Полиомиелит и его профилактика в различных странах мира. М.: Медицина, 1967. (Drozdov S. G. Poliomielit i ego profilaktika v razlichnykh stranakh mira. Moscow, 1967.)

Дубинец 2018 — Дубинец З. А. Концепт «болезнь» в русской языковой картине мира // Филология и человек. 2018. № 3. С. 39–49. (Dubinets Z. A. Kontsept «bolezn'» v russkoy yazykovoy kartine mira // Filologiya i chelovek. 2018. No. 3. Pp. 39–49.)

Куропаткина 2015 — Куропаткина О.В Пятидесятники // Большая российская энциклопедия. М.: БРЭ, 2015. С. 88–89. (Kuropatkina O.V Pjatidesjatniki // Bol'shaja rossijskaja jenciklopedija. M.: BRJe, 2015. S. 88–89.)

Мурашов 2006 — Мурашов Ю. Препарированное тело. К медиализации тел в русской и советской литературе // Русская литература и медицина: тело, предписания, социальная практика. М.: Новое издательство, 2006. (Murashov Yu. Preparirovannoe telo. K medializatsii tel v russkoy i sovetskoy literature // Russkaya literatura i meditsina: telo, predpisaniya, sotsial'naya praktika. Moscow, 2006.)

Тамручи 2013 — Тамручи Н. Медицина и власть // Новое литературное обозрение. 2013. № 4 (122). С. 134–155. (Tamruchi N. Meditsina i vlast' // Novoe literaturnoe obozrenie. 2013. No. 4 (122). Pp. 134–155.)

Трубецкова 2018 — Трубецкова Е. Г. Болезнь как социальная и политическая метафора в литературе и публицистике XX века // Изв. Саратов. Ун-та. Нов. Сер. Филология. Журналистика. 2018. Т. 18, вып. 1. С. 65–68. DOI: 10.18500/1817–7115-2018–18-1–65-68 (Trubetskova E. G. Bolezn' kak sotsial'naya i politicheskaya metafora v literature i publitsistike XX veka // Izv. Sarat. Un-ta. Nov. Ser. Filologiya. Zhurnalistika. 2018. T. 18, Vol. 1. Pp. 65–68. DOI: 10.18500/1817–7115-2018–18-1–65-68)

Трубецкова 2019 — Трубецкова Е. «Новое зрение»: болезнь как прием отстранения в русской литературе XX века. М.: НЛЮ, 2019. (Очерки визуальности). (Trubetskova E. «Novoe zrenie»: bolezn' kak priem oststraneniya v russkoy literature XX veka. Moscow, 2019.)

Фефелов 1986 — Фефелов В. А. В СССР инвалидов нет!.. = There are no disabled people in the USSR!.. London: Overseas Publications Interchange Ltd. 1986.

Bodin 2018 — Bodin R. L'institution du handicap. Esquisse pour une théorie sociologique du handicap. Paris: La Dispute, 2018.

Joselin — Joselin L. Les représentations des personnages ayant une déficience motrice dans la littérature de jeunesse: étude comparative exploratoire France/Italie. Laboratoire PRIS. Univ. de Rouen. ANEP.

Katya Cennet

University of Clermont Auvergne

SOVIET CHILDHOOD: A ANAMNESIS. THEME OF DISABILITY IN SOVIET CHILDREN'S LITERATURE (1930-1990S)

This article discusses the issue of representing illness and disability in children's literature of the Soviet period, traces how this topic evolved in different periods of the Soviet era. In the USSR in the late 1920s a cult of a healthy body, moral "tempering" and spiritual rebirth is taking shape, gradually becoming one of the central theses of the official ideological discourse. People with disabilities, with a few exceptions, are expelled from literature, including children's, and the image of a sick, inferior child tabooed by public consciousness lies in a narrow contextual framework. Based on a corpus analysis of 24 texts of the Soviet period, the author of the article proposes to consider contexts in which the image of a tabooed object / subject (in this case, a seriously ill child or a disabled child) is allowed to be central or secondary, as well as to identify additional semantic burden of the topic of disability within ideological mode. The material for the study was the work of classics of Soviet children's literature (K. Chukovsky, A. Brushtein, A. Aleksin and others) and less well-known writers (R. Torban, M. Gerchik, Yu. Ermolaev, G. Demykina etc.), written between 1932 and 1989.

Keywords: disabled person, illness, cripple, hospital, hospital ward, death, Soviet children's literature, childhood, child